



ГЕРМАН

ГЕССЕ

*СИДДХАРТХА. ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЗЕМЛЕ ВОСТОКА*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Герман Гессе

**Сиддхартха. Путешествие
к земле Востока (сборник)**

«АСТ»

1922, 1932

УДК 821.112.2-3
ББК 84(4Гем)-44

Гессе Г.

Сиддхартха. Путешествие к земле Востока (сборник) /
Г. Гессе — «АСТ», 1922, 1932 — (Эксклюзивная классика
(АСТ))

ISBN 978-5-17-091562-0

«Сиддхартха» – жемчужина прозы Германа Гессе, на страницах которой нашли свое отражение путешествия писателя по Индии, а также его интерес к восточным религиям. Местом действия является Индия времен Сиддхартхи Гаутамы – основателя одной из наиболее глубоких и мудрых религий человечества – буддизма. В этой небольшой книге Гессе удалось объяснить европейцам его суть, создать идеальную систему – некий свод взаимосвязанных правил, как нужно жить, как следует исправлять свои ошибки, как найти свое истинное «я». Эту притчу стоит читать и перечитывать не из-за сюжета и не в поиске новых знаний, а из-за того глубинного понимания мира, ощущения единения с окружающими, которое она дает. В издание также включена аллегорическая повесть «Путешествие к земле Востока».

УДК 821.112.2-3
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-091562-0

© Гессе Г., 1922, 1932
© АСТ, 1922, 1932

Содержание

Сиддхартха	6
Часть первая	6
Сын Брахмана	6
У аскетов	10
Готама	14
Пробуждение	19
Часть вторая	22
Камала	22
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Герман Гессе Сиддхартха. Путешествие к земле Востока

Hermann Hesse
SIDDHARTATHA
DIE MORGENLANDFAHRT

Печатается с разрешения издательства Suhrkamp Verlag Frankfurt am
Main.

- © Hermann Hesse, 1922, 1932
- © Перевод. Н.Н. Федорова, 2015
- © Перевод. Е.В. Шукшина, 2015
- © Издание на русском языке AST Publishers, 2015

Сиддхартха

Часть первая

Сын Брахмана

Под сенью дома, на солнечном речном берегу возле лодок, под сенью ивовой роши, под сенью смоковницы рос Сиддхартха, прекрасный сын брахмана, юный сокол, рос вместе с другом своим Говиндой, сыном брахмана. Солнце золотило его белые плечи на речном берегу, во время купанья, во время священных омовений, во время священных жертвоприношений. Тень вливалась в черные глаза его под пологом манговой роши, во время отроческих игр, под песню матери, во время священных жертвоприношений, во время проповедей отца, постигшего многие науки, во время бесед мудрецов. Давно уже Сиддхартха участвовал в беседах мудрецов, упражнялся с Говиндой в искусстве наблюдения, в служенье медитации. Он умел уже беззвучно произносить *ом*, слово из слов, на вдохе беззвучно роняя его в себя, на выдохе же беззвучно роняя его вовне, сосредоточившись душою, с челом, сияющим блеском ясно мыслящего духа. Он умел уже ощутить внутри своего существа атман, несокрушимый, неотделимый от вселенной.

Радостью наполнилось сердце отца его, когда он смотрел на сына, смышленного, жаждущего знаний, и видел в нем будущего великого мыслителя и жреца – князя среди брахманов.

Блаженством наполнилась грудь матери его, когда она смотрела на него, видела, как он ходит, как он садится и встает – Сиддхартха, сильный, прекрасный, несомый стройными ногами, приветствующий ее с безупречным достоинством.

Любовь трепетала в сердцах юных дочерей брахманов, когда Сиддхартха шагал по городским улицам – сияющее чело, царственный взор, узкие бедра.

Но больше всех любил его Говинда, его друг, сын брахмана. Он любил глаза Сиддхартхи и мелодичный голос, любил его походку и безупречное достоинство движений, любил все, что бы ни делал и ни говорил Сиддхартха, а превыше всего любил его дух, его пылкие, возвышенные помыслы, его страстную волю, его высокое призвание. Говинда знал: не будет Сиддхартха ни заурядным брахманом, ни ленивым храмовым служителем, ни алчным торговцем заклинаниями, ни тщеславным празднословом, ни злобным, коварным жрецом, как не будет и кротким глупым стадным бараном. Нет, и сам он, Говинда, тоже не хотел быть таким брахманом, одним из многих тысяч. Он последует за Сиддхартхой, возлюбленным, несравненным. И если Сиддхартха станет когда-нибудь божеством, если войдет когда-нибудь в сонм лучезарных, то Говинда последует за ним – его друг, и спутник, и слуга, и копыеносец, и просто его тень.

Все любили Сиддхартху. Всех он радовал, всем был по сердцу.

Самого же себя Сиддхартха не радовал, себе он не был по сердцу. Прогуливаясь по дорожкам сада среди свежести смоковниц, сидя в мерцающе-синей тени роши созерцания, совершая ежедневное очистительное омовение, творя жертву в глубоком сумраке мангового леса, полный безупречного достоинства во всяком движении, всеми любимым, всех радующий, он, однако, не ведал радости в сердце своем. Грезы являлись ему и беспокойные мысли в текучих речных струях, в мерцанье искристых ночных звезд, в блеске сияющих солнечных лучей; грезами и беспокойными мыслями курились жертвы, дышали стихи Ригведы, сочились проповеди стариков брахманов.

Сиддхартха начал взращивать в себе недовольство. Мало-помалу он почувствовал, что любовь отца, и любовь матери, и любовь друга, Говинды, не будут вечно, до скончания времен дарить ему счастье, утолять боль, насыщать его, дозвлеть ему. Он начал догадываться, что его почтенный отец и другие его наставники, а также мудрецы брахманы уже сообщили ему бульшую и лучшую часть своих познаний, перелили их в его ожидающий сосуд, и сосуд не наполнился, дух не был удовлетворен, душа не успокоилась, сердце не утихло. Омовения приносили благо, но ведь они были всего-навсего водою, они не смывали грех, не утоляли духовной жажды, не унимали сердечного страха. Выше похвал были жертвы и обращение к богам – но неужели это все? Даруют ли жертвы счастье? И как обстоит с богами? Вправду ли именно Праджapati создал мир? А не атман ли, Он, единственный, единосущный? Не суть ли боги творения, созданные, как ты и я, подвластные времени, преходящие? Так благо ли и правильно ли приносить жертвы этим богам, есть ли высокий смысл в таком деянье? Кому же тогда приносить жертвы, кому оказывать почести, как не Ему, единственному, атману? А где найти атман, где Он обитает, где бьется Его вечное сердце, где, как не в собственном «я», в сокровеннейшей глубине, в несокрушимом, которое всяк носит в себе? Но где, где заключено это «я», это сокровеннейшее, это последнее? Он – не плоть и не кости, не мышление и не сознание, так учили мудрейшие. Где же оно, где? Проникнуть туда, к этому «я», ко «мне», к атману, – есть ли иной путь, какого стоит искать? Ах, и не укажет никто этот путь, никто его не ведаёт, ни отец, ни учителя и мудрецы, ни священные жертвенные песнопения! Всё они знали, брахманы и священные их книги, всё они знали, обо всем пеклись, и даже более чем обо всем; бесконечно многое было им ведомо: сотворение мира, возникновение речи, пищи, вдоха, выдоха, распорядки чувств, деяния богов, – но что проку в этом знании, если не знаешь одного-единственного, самого важного, единственно важного?

Конечно, многие стихи священных книг, особенно в Упанишадах Самаведы, говорили об этом сокровеннейшем и последнем, прекрасные стихи. «Душа твоя – весь мир», – написано там, а еще написано, что во сне, в глубоком сне человек отходит к своему сокровеннейшему и обитает в атмане. Дивная мудрость заключена в этих стихах, все знание мудрейших собрано здесь в магических словах, чистое, как собранный пчелами мед. Да, немало уважения заслуживает огромное знание, собранное здесь и сохраненное несчетными поколениями мудрых брахманов... Но где же те брахманы, где жрецы, где мудрые или кающиеся, которым удалось не просто познать это глубочайшее знание, но жить им? Где тот искусник, что сотворит чудо и переведет бытие в атмане из сна в явь, в жизнь, в будни, в слово и дело? Многих почтенных брахманов знал Сиддхартха, и прежде всех – своего отца, чистого, светящего в науках, весьма почтенного. Отец его был достоин восхищения, спокойны и благородны были его манеры, чиста его жизнь, мудра его речь, изысканные и возвышенные помыслы обитали у него в голове – однако и он, столь много знающий, жил ли он в блаженстве, обрел ли мир? Не был ли и он тоже всего лишь ищущим и жаждущим? Не приходилось ли ему, жаждущему, вновь и вновь пить из священных источников, из жертвоприношений, из книг, из бесед брахманов? Отчего ему, безупречному, приходилось каждый день смывать грех, каждый день домогаться очищения, каждый день заново? Разве не было в нем атмана, разве не бил в собственном его сердце первозданный источник? Вот его-то и надо найти, первозданный источник в собственном «я», им-то и надо овладеть! Все остальное – исканье, окольный путь, ошибка.

Таковы были помыслы Сиддхартхи, такова – его жажда, таково – страданье.

Часто повторял он слова из Чхандогьи-упанишады: «Поистине, имя Брахмана есть Сатьям – вправду, кто знает это, каждый день входит в мир небесный». Часто он, мир небесный, казался близок, но никогда Сиддхартха не достигал его вполне, никогда не утолял последней жажды. И из всех мудрых и мудрейших, которых он знал и наставленьям которых

внимал, – из них всех ни один не достиг его вполне, мира небесного, ни один не утолил вполне вечной жажды.

– Говинда, – молвил Сиддхартха своему другу, – Говинда, мой дорогой, идем со мной под баньяновое дерево, предадимся медитации.

Они пошли к баньяну, сели там – Сиддхартха, а двадцатью шагами дальше Говинда. Усаживаясь, готовясь произнести *ом*, Сиддхартха нараспев повторил такие стихи:

Ом – это лук, стрела его – душа,
А цель стрелы – Брахман,
И поразить стрелою эту цель
Должно во что бы то ни стало¹.

Когда истекло привычное время медитации, Говинда поднялся. Свечерело, настала пора для вечернего омовения. Он окликнул Сиддхартху по имени. Сиддхартха не ответил. Сиддхартха пребывал в медитации, глаза его недвижно вперились в какую-то далекую-далекую цель, кончик языка чуть выглядывал между зубов, он словно бы и не дышал. Сидел так, погруженный в медитацию, помышляя *ом*, послав душу свою, как стрелу, к Брахману.

Немногим ранее через город, где жил Сиддхартха, проходили *саманы*, странствующие аскеты, трое мужчин, худущие, как бы потухшие, не старые и не молодые, с покрытыми пылью и окровавленными плечами, почти нагие, опаленные солнцем, окруженные одиночеством, чуждые и враждебные миру, пришельцы и шакалы в царстве людей. За ними следом плыл жаркий и густой запах безмолвной страсти, разрушительного служения, беспощадного освобождения от самости.

Вечером, после часа созерцания, Сиддхартха сказал Говинде:

– Завтра поутру, друг мой, Сиддхартха уйдет к аскетам. Он станет одним из них.

Говинда побледнел, услышав эти слова и прочтя в недвижном лице своего друга решение, неотвратимое, как стрела, выпущенная из лука. Сразу же, с первого взгляда Говинда понял: вот и свершилось, Сиддхартха начинает свой путь, его судьба идет в рост, а с нею вместе и моя. И он побледнел, как сухая банановая кожура.

– О Сиддхартха, – воскликнул он, – позволит ли это твой отец?

Сиддхартха посмотрел на него, как бы пробуждаясь. Мгновенно прочел он в душе Говинды – прочел страх, прочел смирение и преданность.

– О Говинда, – тихо молвил он, – не будем попусту тратить слова. Завтра на рассвете я начну жизнь аскета-саманы. Не говори об этом больше.

Сиддхартха вошел в комнату, где на лубяной циновке сидел его отец, и стал у отца за спиной, и стоял там, пока отец не почувствовал, что за спиной кто-то есть.

– Это ты, Сиддхартха? – произнес брахман. – Говори же, зачем пришел. Что желаешь мне сказать?

И Сиддхартха ответил:

– С твоего позволения, отец, я пришел сказать тебе, что хочу завтра покинуть твой дом и уйти к аскетам. Стать аскетом-саманой – вот чего мне хочется. Пусть же отец мой не противится этому.

Брахман молчал, молчал так долго, что звезды в оконце переместились и изменили свой узор прежде, чем молчание в комнате было нарушено. Безмолвно и неподвижно стоял, скрестив руки, сын, безмолвно и неподвижно сидел на циновке отец, а звезды вершили свой путь по небу. И вот отец промолвил:

¹ Авторская аллюзия на Мундака-упанишаду (II.2). – *Примеч. пер.*

– Не пристало брахману говорить резкие и гневные слова. Но негодование сдает мне сердце. Я не хочу слышать эту просьбу из твоих уст второй раз.

Брахман медленно поднялся на ноги, Сиддхартха стоял безмолвно, скрестив руки.

– Чего ты ждешь? – спросил отец.

– Ты знаешь, – ответил Сиддхартха.

В раздражение отец покинул комнату, в раздражение пошел к своей постели и лег.

Спустя час – сон так и не смежил ему веки – брахман встал, бесцельно прошелся туда-сюда, вышел из дома. Через маленькое оконце он заглянул в комнату и увидел, что Сиддхартха стоит недвижимый, скрестив руки. Тускло белели его светлые одежды. С беспокойством в сердце отец вернулся на свое ложе.

Спустя час – сон так и не смежил ему веки – брахман опять встал, бесцельно прошелся туда-сюда, вышел из дома, увидел, что на небе сияет луна. Заглянул через оконце в комнату: Сиддхартха стоял недвижимый, скрестив руки, его голые икры поблескивали в лунном свете. С тревогой в сердце отец вернулся на свое ложе.

И он вновь выходил спустя час и спустя два часа, заглядывал через маленькое оконце, видел Сиддхартху – тот стоял, в сиянье луны, в звездном свете, во тьме. Час за часом выходил брахман, молча заглядывал в комнату, видел недвижимую фигуру, и сердце его наполнилось гневом, наполнилось беспокойством, наполнилось неуверенностью, наполнилось болью.

И в последний ночной час, прежде чем наступил день, он вернулся в дом, вошел в комнату, увидел юношу, и тот показался ему большим и как бы незнакомым.

– Сиддхартха, – молвил он, – чего ты ждешь?

– Ты знаешь чего.

– Ты так и будешь все время стоять и ждать, пока не настанет утро, и полдень, и вечер?

– Буду стоять и ждать.

– Ты устанешь, Сиддхартха.

– Устану.

– Ты заснешь, Сиддхартха.

– Не засну.

– Ты умрешь, Сиддхартха.

– Умру.

– И ты предпочтешь умереть, нежели подчиниться отцу?

– Сиддхартха всегда подчинялся своему отцу.

– Значит, ты откажешься от своего замысла?

– Сиддхартха поступит так, как скажет ему отец.

Первый свет дня озарил комнату. Брахман увидел, что колени Сиддхартхи легонько дрожат. В лице Сиддхартхи дрожи не было, в дальнюю даль смотрели его глаза. Тут понял отец, что Сиддхартха уже и теперь не с ним, не в родном краю, что сын уже теперь покинул его. Отец коснулся плеча Сиддхартхи.

– Ты пойдешь в лес, – молвил он, – и будешь аскетом. Если отыщешь в лесу высшее счастье, приходи и научи меня высшему счастью. Если же найдешь разочарование, возвращайся, и мы станем вновь вместе творить жертвы богам. Теперь иди поцелуй мать, скажи ей, куда ты уходишь. А мне пора на реку, совершить первое омовение.

Он снял руку с сыновнего плеча и вышел. Сиддхартха покачнулся, пытаясь идти. Укротив непослушные члены, он склонился вслед отцу и отправился к матери, чтобы сделать, как велел отец.

Когда он в первых лучах дня медленно, на негнущихся ногах покидал тихий еще город, около последней хижины темной тенью сидела на корточках какая-то фигура, и она поднялась и присоединилась к страннику – Говинда.

– Ты пришел, – сказал Сиддхартха и улыбнулся.

– Да, я пришел, – сказал Говинда.

У аскетов

Вечером этого дня они догнали аскетов, худущих подвижников-саманов, и спросили, нельзя ли примкнуть к ним, стать их смиренными спутниками. И были приняты.

Свою одежду Сиддхартха отдал бедному брахману, встретившемуся на дороге. Теперь на нем были только набедренная повязка да землистого цвета накидка из несшитого куска материи. Ел он лишь раз в день и вареной пищи не употреблял. Он постился пятнадцать дней. Постился двадцать восемь дней. Плоть его бедер и щек усыхала. Жаркие мечтания горели в его огромных глазах, на костлявых теперь пальцах отрастали ногти, а на подбородке – жесткая лохматая борода. Ледяным становился его взгляд при встрече с женщинами; презрительно кривился его рот, когда ему случалось проходить через город, полный нарядно одетых людей. Он видел, как торгуют торговцы, едут на охоту князя, скорбящие оплакивают своих покойников, блудницы предлагают себя, лекари пользуют недужных, жрецы назначают день посева, любящие любят, матери кормят грудью младенцев, – и все это даже взгляда его не заслуживало, все обманывало, все смердело, все смердело обманом, все прикидывалось смыслом, и счастьем, и красотой, а было подспудным тленом.

Одна цель стояла перед Сиддхартхой, одна-единственная: опустошиться, избыть все – жажду, желания, грезы, радости и страданье. Отмереть от самого себя, лишиться своего «я», с опустошенным сердцем обрести покой, освободив мысль от самости, распахнуться навстречу чуду – такова была его цель. Когда «я» будет полностью побеждено и умрет, когда умолкнут в сердце всякая страсть и всякое влечение, тогда непременно проснется самое последнее, самое сокровенное в его существе, уже не-«я», великая тайна.

Молча стоял Сиддхартха под отвесными лучами палящего солнца, сгорая от боли, сгорая от жажды, стоял, пока не утратилось и чувство боли, и чувство жажды. Молча стоял он в сезон дождей, вода текла с его волос на зябнувшие плечи, струилась по зябнувшим бедрам и голеникам, пока плечи и бедра не перестали зябнуть, пока не умолкли, пока не утихли. Молча сидел он на корточках в колючих дебрях, горящая кожа сочилась кровью, нарывы – гноем, а Сиддхартха не шевелился, пока не перестала течь кровь, пока не перестали жалиться колючки, пока не унялось жжение.

Сиддхартха сидел прямой, как свеча, и учился беречь дыхание, учился обходиться малой толикой дыхания, учился останавливать дыхание. Он учился, начавши с дыхания, успокаивать биенье сердца, учился уменьшать частоту ударов сердца, пока не становились они редкими и не умолкали почти совсем.

Под руководством старейшего из аскетов постигал Сиддхартха освобождение от самости, предавался медитации по новым, аскетическим предписаниям. Цапля пролетала над бамбуковым лесом – и Сиддхартха принимал цаплю в свою душу, летал над лесами и горами, был цаплей, поедая рыбу, голодал цаплиным голодом, кричал цаплиным криком, умирал цаплиной смертью. Дохлый шакал валялся на песчаном берегу, и душа Сиддхартхи скользнула в это мертвое тело, и стала дохлым шакалом, и валялась на берегу, раздуваясь, смердя, истлевая, гиены разорвали ее на куски, стервятники содрали с нее кожу, и она обратилась в остов, обратилась в прах, развеялась по ветру. И душа Сиддхартхи возвращалась, умирала, истлевала, развеивалась прахом, вкушала мрачный хмель круговорота бытия, нетерпеливо, снедаемая новой жаждой, словно охотник, ждала щелчки, через которую можно вырваться из круговорота, туда, где конец всех причин, где начинается безмятежная вечность. Он умерщвлял свои чувства, умерщвлял свою память, переселялся из своего «я» в тысячи чужих обликов, был зверем, был падалью, был камнем, древесиной, водою и, про-

буждаясь, всякий раз обретал себя, под солнцем или под луной, опять был «я», вращался в круговороте, испытывал жажду, преодолевал жажду, испытывал жажду вновь.

Многому научился Сиддхартха у саманов, многими путями научился он уходить от «я». Он шел по пути освобождения от самости через боль, через добровольное ощущение боли, голода, жажды, усталости. Он шел по пути освобождения от самости через медитацию, через опустошение разума от всех представлений. Он научился идти этими и разными иными путями, тысячи раз покидая свое «я», часами и целыми днями пребывая в не-«я». Но хотя и уводили эти пути от «я», в конце они всегда вновь к нему же возвращались. Тысячи раз Сиддхартха ускользал из «я», находился в Ничто, находился в звере, в камне – неминуемо было возвращение, неизбежен час, когда он обретал себя, под солнцем или под луной, в тени или под дождем, и вновь становился «я», становился Сиддхартхой, и вновь терзался неотвратимостью круговорота.

Рядом с ним как бы тенью его жил Говинда, шел почти теми же путями, подвергал себя тем же тяготам. И разговоры их редко касались предметов, не связанных со служением и ученичеством. Порой они вдвоем бродили по деревням, выпрашивая пропитание для себя и своих наставников.

– Как ты думаешь, Говинда, – сказал в один из таких дней Сиддхартха, – как ты думаешь, мы продвинулись вперед? Достигли каких-то целей?

И Говинда ответил:

– Мы учились и продолжаем учиться. Ты будешь великим саманой, Сиддхартха. Как быстро ты усваивал всякое упражнение, старики аскеты часто восхищались тобой. Когда-нибудь ты станешь святым, о Сиддхартха.

И молвил Сиддхартха:

– А вот мне так не кажется, друг мой. Все, чему я до сего дня выучился у саманов, я мог бы выучить быстрее и проще – в любом кабаке веселого квартала, друг мой, среди возчиков и игроков в кости.

И сказал Говинда:

– Сиддхартха смеется надо мной. Как бы мог ты научиться медитации, сдерживанию дыхания, невосприимчивости к голоду и боли там, у этих жалких существ?

И Сиддхартха произнес тихо, будто обращаясь к самому себе:

– Что есть медитация? Что есть выход из телесной оболочки? Что есть пост? Что – сдерживанье дыхания? Бегство от «я», краткий уход от мук «я»-бытия, краткое забвенье боли и нелепости жизни. Точно так же погонщик быков бежит от жизни, находит краткое забвенье в пивной, осушив несколько чарок рисовой водки или кокосовой браги. Тогда он не ощущает уже своей самости, не испытывает жизненной боли, тогда ненадолго приходит к нему забвенье. Уснув над чаркой рисовой водки, он обретает то же, что обретают Сиддхартха и Говинда, когда после долгих радений покидают свою телесную оболочку, пребывая в не-«я». Вот так-то, о Говинда.

На это молвил Говинда:

– Так ты говоришь, о друг мой, а все же сознаешь, что Сиддхартха не погонщик быков и самана не выпивоха. Пьяница хотя и обретает забвенье, хотя и уходит ненадолго от жизни, давая себе роздых, однако ж он, очнувшись от грез, обнаруживает, что все осталось по-прежнему, и не становится мудрее, не пополняет копилку знания, не восходит вверх по ступеням.

И Сиддхартха с улыбкой сказал:

– Не знаю, я никогда не был пьяницей. Но что я, Сиддхартха, обретаю в своих радениях и медитациях лишь краткое забвенье и столь же далек от мудрости, от спасенья, как был далек младенцем в утробе матери, – это я знаю, о Говинда, это я знаю.

Также и в другой раз, когда Сиддхартха с Говиндой вышли из лесу и отправились в деревню попросить немного пищи для братьев своих и наставников, Сиддхартха заговорил и начал так:

– Ну что же, о Говинда, на верном ли мы пути? Приближаемся ли к познанию? Приближаемся ли к спасению? Или, быть может, ходим по кругу – мы, желавшие вырваться из круговорота?

Говинда же сказал:

– Многому мы научились, Сиддхартха, и многому нам еще предстоит научиться. Мы не ходим по кругу, мы поднимаемся вверх, круг – это спираль, и мы уже взойшли на ступеньку-другую.

И Сиддхартха отвечал:

– Как по-твоему, сколько лет старейшему из аскетов, нашему почтенному наставнику?

– Лет шестьдесят, – сказал Говинда, – наверное, нашему старейшине лет шестьдесят.

На это Сиддхартха:

– Шесть десятков лет прожил он и не достиг нирваны. Ему и семьдесят сравняется, и восемьдесят, и мы с тобой доживем до столь же преклонного возраста, и будем радеть, и поститься, и медитировать. Но нирваны не достигнем, ни он, ни мы. О Говинда, по-моему, из всех саманов, какие есть на свете, ни один не достигнет нирваны, ни один. Мы обретаем утешение, обретаем забвение, обретаем искусные навыки, которыми обманываем себя. Но самого главного, пути из путей, мы не находим.

– Не стоит, – молвил Говинда, – не стоит все же тебе, Сиддхартха, произносить столь страшные речи! Да как же среди такого множества сведущих мужей, среди такого множества брахманов, среди такого множества суровых и почтенных саманов, среди такого множества ищущих, такого множества глубоко ревностных, святых мужей не найдется ни одного, что прошел путем из путей?

Сиддхартха же промолвил, и в голосе его слышались равно и печаль, и насмешка, промолвил тихо, чуть печально, чуть насмешливо:

– Скоро, Говинда, твой друг покинет эту стезю саманов, по которой так долго шел вместе с тобой. Меня мучит жажда, о Говинда, а на этом долгом пути аскезы жажда моя нисколько не утолилась. Всегда я жаждал познания, всегда был полон вопросов. Я спрашивал брахманов, год за годом, спрашивал священные Веды, год за годом. Быть может, о Говинда, было бы ничуть не хуже, ничуть не глупее и ничуть не бесполезнее спросить птицуносорога или шимпанзе. Много времени я потратил, о Говинда, и по сей день не усвоил до конца такую вот истину: научиться невозможно ничему! Мне кажется, то, что мы зовем «ученьем», на самом деле не существует. А существует, о друг мой, лишь одно знание, оно повсюду, и это – атман, который во мне, и в тебе, и во всякой твари. И я начинаю думать, что нет у этого знания врага страшнее, чем желание знать, чем ученье.

Тут Говинда остановился прямо посреди дороги, воздел руки и произнес:

– Негоже тебе, Сиддхартха, пугать друга такими речами! Поистине страх пробуждают твои слова в моем сердце. Ты только представь себе: если все так, как ты говоришь, если ученья не существует, зачем тогда нужна священность молитв, зачем почтенность варны брахманов, зачем святость подвижников-саманов?! Что, о Сиддхартха, что станет тогда со всем, что есть на земле святого и священного, ценного и достойного почтения?!

И Говинда пробормотал про себя стихи, стихи из Упанишад:

Блажен, кто в размышленье, просветлевши духом,
погружается в атман,
Невыразимо словами блаженство сердца его.

Но Сиддхартха молчал. Он обдумывал слова, сказанные Говиндой, и додумал их до конца.

«Да, что же останется от всего, что казалось нам свято и священно? – думал он, стоя с поникшей головою. – Что останется? Что уцелеет?» И он покачал головой.

И вот однажды, когда юноши прожили у саманов около трех лет, дея с подвижниками их радения, дошла до них многими – прямыми и окольными – путями одна весть, молва, легенда: явился-де некто, по имени Готама, Возвышенный, Будда, он преодолел в себе страданье мира и остановил колесо перерождений. Возглашая проповеди, в окруженье учеников он-де странствует по городам и весям, неимуший, безродный, безженный, в желтом одеянии аскета, но с ясным челом, исполненный радости, и брахманы и князья склоняются перед ним и делаются учениками его.

Эта весть, эта молва, эта сказка раздавалась, воспаряла то здесь, то там, в городах о ней толковали брахманы, в лесу – подвижники-саманы, вновь и вновь имя Готамы, Будды, достигало ушей Сиддхартхи и его друга – сказанное по-доброму и со злостью, с похвалою и с поношением.

Подобно тому как в краю, где властвует чума, возникает весть, будто там-то и там-то явился человек, мудрец, ведун, чьего слова и дыханья довольно, чтобы исцелить каждого из пораженных морвою язвой, и как затем эта весть бежит по всей стране и всяк говорит о ней, многие верят, многие сомневаются, а многие тотчас собираются в путь, чтобы повидать мудреца, спасителя, – вот так же разнеслась по здешнему краю эта молва, благоуханно-парящая молва о Готаме, о Будде, мудреце из рода Шакья. Ему, говорили верующие, присуще высшее познание, он помнил о своих прошлых жизнях, он достиг нирваны и уже не возвращался более в круговорот, не погружался в мутный поток перерождений. Много дивного и невероятного рассказывали о нем, он творил чудеса, одолел демона, беседовал с богами. Противники же его и неверующие говорили, что этот Готама – тщеславный оболъститель, что он проводит свои дни в удовольствиях, пренебрегает жертвами, не обладает ученостью и не знает ни радений, ни умерщвления плоти.

Сладостно звучала молва о Будде, волшебством веяло от этих рассказов. Болен был мир, нестерпимо тяжела была жизнь – и вот здесь словно забил источник, словно раздался зов предвестника, утешный, ласковый, исполненный благородных обетов. Повсюду, куда доносилась молва о Будде, повсюду в индийских землях прислушивались к ней юноши и загорались ожиданием, загорались надеждой, и сыновья брахманов что в городах, что в деревнях дарили гостеприимством всякого странника и пришельца, если приносил он весть о нем, о Возвышенном, о Шакьямуни.

Добралась эта молва и до аскетов в лесу, и до Сиддхартхи, и до Говинды, медленно, капля по капле, каждая капля тяжела от надежды, каждая – тяжела от сомнений. Они мало говорили об этом, ибо старейшине саманов молва пришлась не по душе. Он слышал, что мнимый этот будда некогда был аскетом и жил в лесу, потом, однако, вновь обратился к благополучной жизни и мирским удовольствиям, и оттого старый аскет ни в грош не ставил этого Готаму.

– О Сиддхартха, – сказал однажды Говинда своему другу, – нынче я был в деревне, и один брахман пригласил меня в свой дом, а в доме его находился некий сын брахмана из Магадхи, который собственными глазами видел Будду и слышал его проповеди. Поистине заболело у меня в груди, и я подумал: хорошо бы и мне, хорошо бы нам обоим, мне и Сиддхартхе, дожить до мгновенья, когда мы услышим проповедь из уст Совершенного! Скажи, друг мой, не отправиться ли и нам туда, не послушать ли проповедь из уст самого Будды?

Ответил Сиддхартха:

– Всегда, о Говинда, я думал, что Говинда останется у саманов, всегда полагал я, что цель его – достичь шестидесяти- и семидесятилетнего возраста, упражняясь в искусствах

и раденьях, которые украшают аскета. И вот оказывается, я слишком мало знал Говинду, мало знал о сердце его. Итак, мой дорогой, ты желаешь отправиться в дорогу, туда, где Будда проповедует свое учение.

И Говинда произнес:

– Тебе угодно насмешничать. Что ж, насмешничай, о Сиддхартха, изволь! Но разве не проснулось и в тебе желание, стремление услышать эту проповедь? И не ты ли говорил мне, что недолго осталось тебе идти путем саманов?

Тут Сиддхартха рассмеялся, по своему обычаю, причем тон его голоса окрасился легкой печалью и легкой насмешкой, и молвил:

– Хорошо сказал ты, Говинда, правильно ты запомнил. Но вспомни же и иное, услышанное от меня – что я не доверяю проповедям и учению, что они наскучили мне и невелика моя вера в слова, приходящие к нам от наставников. Впрочем, ладно, я готов услышать то учение – хотя в сердце моем полагаю, что лучший плод этого учения мы уже вкусили.

На это Говинда:

– Твоя готовность радует мне сердце. Но скажи, как это возможно? Как учение Готама, которого мы еще не слыхали, могло уже открыть нам свой лучший плод?

И отвечал Сиддхартха:

– Давай, о Говинда, вкусим этот плод и подождем, что будет! Плод же этот, которым мы уже теперь обязаны Готаме, плод этот – клич уйти от аскетов! Ну а дарует ли он нам иное и лучшее, о друг мой, придется подождать, со спокойной душою.

В этот же самый день Сиддхартха сообщил старейшине саманов, что решил покинуть его. О своем решении он известил старейшину со всей учтивостью и скромностью, каковые подобают младшему годами и ученику. Самана же разгневался, что юноши пожелали оставить его, и говорил громко, и употреблял грубые, бранные слова.

Говинда испугался и пришел в замешательство. Сиддхартха, однако, наклонился к уху Говинды и прошептал:

– Сейчас я покажу старику, что кое-чему у него научился.

Он стал перед саманой, сосредоточившись душою, вперился взглядом в глаза старика, зачаровал его, лишил речи, лишил воли, подчинил его себе, приказал без единого слова сделать все, что он, Сиддхартха, требует. Старик умолк, взгляд у него стал стеклянным, воля оцепенела, руки повисли, бессильный, он покорился чарам Сиддхартхи. А мысли Сиддхартхи овладели саманой, он поневоле исполнил все, что они повелевали. И вот старик несколько раз поклонился, жестом дал им свое благословение, запинаясь произнес благочестивое напутствие. И юноши поклонились в ответ, поблагодарили за напутствие и, попрощавшись, отправились в дорогу.

Говинда сказал по пути:

– О Сиддхартха, ты научился у аскетов большему, чем я думал. Трудно, очень трудно зачаровать старика саману. Поистине останься ты там – и вскоре научился бы ходить по водам.

– Я не жажду ходить по водам, – молвил Сиддхартха. – Пусть такими искусствами довольствуются старики аскеты.

Готама

В городе Саватхи каждый ребенок знал имя Возвышенного Будды, и каждый дом готов был наполнить чашу для подаяния ученикам Готама, безмолвным просителям. Поблизости от города находилось излюбленное прибежище Готама, роца Джетавана, которую даровал ему и его сподвижникам богатый купец Анатхапиндика, верный почитатель Возвышенного.

На это место указывали рассказы и ответы, выслушанные молодыми аскетами в поисках прибежища Готамы. И когда они очутились в Саватхи, в первом же доме, у дверей которого они остановились, прося подаяния, им предложили пищу, и они приняли ее, а Сиддхартха спросил у женщины, что подала им поесть:

– О благодетельница, нам бы очень хотелось узнать, где пребывает досточтимейший Будда, ибо мы, лесные аскеты-саманы, пришли увидеть Совершенного и услышать проповедь из собственных его уст.

И ответила женщина:

– Поистине, лесные саманы, вы пришли туда, куда вам потребно. Знайте же, в Джетаване, в саду Анатхапиндики, пребывает Возвышенный. Там и вы, странники, сможете переночевать, ибо в саду том довольно места для всех несчетных множеств, что стекаются слушать проповедь из собственных его уст.

И возрадовался Говинда, и радостно сказал:

– Прекрасно, значит, наша цель достигнута и путь наш завершен! Но скажи нам, о мать странников, знаешь ли ты его, Будду, видела ли его своими глазами?

Женщина молвила на это:

– Много раз я видела Возвыщенного. Много дней видела, как он ходит по улицам, безмолвный, в шафранно-желтых одеждах, как безмолвно протягивает у дверей чашу для подаяния, как уносит с собою наполненную чашу.

С восторгом внимал ей Говинда, и о многом еще хотелось ему расспросить и о многом услышать. Но Сиддхартха напомнил, что время продолжить путь. Они поблагодарили, и пошли дальше, и почти не спрашивали о дороге, потому что в Джетавану шагало немалое число странников и монахов из общины Готамы. А когда ночью они добрались до места, там сновали люди, слышались возгласы и разговоры тех, кто искал приюта и обретал его. Оба аскета, привычные к лесной жизни, быстро и без шума отыскали себе прибежище и отдыхали до утра.

На восходе солнца они с изумлением увидели, сколь великое множество народу – верующих и любопытных – здесь ночевало. Монахи в желтых одеждах прогуливались по всем дорожкам прекрасной рощи, сидели там и сям под деревьями, погруженные в созерцание или увлеченные духовной беседой; точно город выглядели тенистые сады, и людей в них было, что пчел в улье. Большинство монахов с чашами для подаянья шли в город, чтобы собрать пищу на обед, единственную их трапезу. И сам Будда, Просветленный, тоже просил по утрам милостыню.

Сиддхартха увидел его и тотчас узнал, словно кто-то из богов сделал ему знак. Он увидел скромного человека в шафранно-желтой одежде, который шел по дороге с чашей для подаянья в руках.

– Смотри! – тихо молвил Сиддхартха Говинде. – Вот он и есть Будда.

Внимательно посмотрел Говинда на монаха в желтой одежде, который как будто бы ничем не отличался от сотен других монахов. И скоро Говинда тоже понял: да, это он. И оба пошли следом, наблюдая за ним.

Будда шагал своей дорогой, неприметный, погруженный в свои мысли, безмятежное лицо его не было ни радостно, ни печально, он как бы тихонько улыбался про себя. С затаенной улыбкой, безмятежный, спокойный, чем-то похожий на пышущего здоровьем ребенка, Будда и двигался, и носил свое одеянье, и ступал в точности как все монахи, в точности как предписано. Однако его лицо, и поступь, и безмятежно устремленный долу взор, и безмятежно опущенная рука, и даже любой из пальцев его безмятежно опущенной руки говорили об умиротворенности, говорили о совершенстве – он никому не подражал, никого не искал, мирно дышал невозмутимым покоем, неугасимым светом, высочайшей умиротворенностью.

Вот так Готама шел в город собирать подаянье, и оба аскета узнали его единственно по совершенству его покоя, по безмятежности облика, в котором не чувствовалось ни искания, ни хотения, ни подражания, ни усилия – только свет и умиротворенность.

– Нынче мы услышим проповедь из его уст, – сказал Говинда.

Сиддхартха не ответил. Проповедь мало интересовала его, он не верил, что почерпнет из нее нечто новое, ведь и сам он, и Говинда не раз уже слышали, в чем состоит учение этого Будды, хотя бы и из вторых и третьих уст. Но он внимательно смотрел на голову Готама, на его плечи, на его ноги, на безмятежно опущенную руку, и казалось ему, будто каждый палец, каждый ноготь этой руки были учением и проповедью, говорили, дышали, благоухали, блистали истиной. Этот человек, этот Будда был истинным, настоящим до малейшего шевеления мизинца. Этот человек был святым. Никогда Сиддхартха не почитал так ни одного человека, никого никогда так не любил, как его.

Они проводили Будду до города и молча вернулись обратно, ибо сами намеревались в этот день воздержаться от пищи. Они видели, как Готама воротился, как вкушал трапезу в кругу своих учеников – тем, что он съел, не насытилась бы и птица, – видели, как он удалился под сень манговых деревьев.

А вечером, когда спала жара и весь лагерь ожил и собрался вместе, они слышали проповедь Будды. Услышали его голос, и он тоже был совершенен, полон совершенного спокойствия, полон умиротворенности. Готама проповедовал учение о страдании, о происхождении страдания, о пути к уничтожению страдания. Спокойно и ясно текла его безмятежная речь. Страданием была жизнь, и мир исполнен страдания, но уже найдено избавление: обретал избавление тот, кто шел путем Будды.

Кротким, однако же твердым голосом говорил Возвышенный, проповедовал Четыре Истины, проповедовал восьмеричную дорогу, терпеливо шел привычным путем поучения, примеров, повторений, светло и безмятежно парил его голос над внемлющими, как светоч, как звездное небо.

Когда Будда – уже настала ночь – завершил свои речи, иные из паломников вышли вперед и попросили принять их в общину, нашли свое прибежище в учении. И Готама принял их с такими словами:

– Вот и услышали вы учение, вот и оглашена его проповедь. Придите же и живите в святости, дабы положить конец всякому страданию.

И Говинда тоже выступил вперед, робкий Говинда, и молвил:

– И я ищу прибежище у Возвышенного и в учении его, – и попросил допустить его в число учеников, и был допущен.

Немногим позже, когда Будда удалился на ночлег, Говинда обратился к Сиддхартхе и пылко воскликнул:

– Сиддхартха, не пристало мне делать тебе упреки. Мы оба слышали Возвышенного, оба внимали его проповеди. Говинда выслушал поучение и обрел в нем прибежище. А ты, досточтимый, разве не желаешь идти дорогою избавления? Разве станешь ты медлить, станешь еще ждать?

Сиддхартха как бы пробудился от сна, внимая речи Говинды. Долго смотрел он Говинде в лицо. Потом тихо, без насмешки в голосе молвил:

– Говинда, друг мой, вот ты и сделал шаг, вот и выбрал свой путь. Всегда, о Говинда, ты был моим другом, всегда шел следом за мною. Я часто думал: не сделает ли Говинда когда-нибудь собственный шаг, без меня, по зову своей души? И вот ты стал мужчиной и сам выбираешь свой путь. Так пройди же его до конца, о друг мой! И обрети спасение!

Говинда, который еще не вполне понимал, нетерпеливым тоном повторил свой вопрос:

– Говори же, прошу тебя, мой дорогой! Скажи мне – ведь иначе и быть не может, – что и ты, мой сведущий друг, обретишь прибежище у Возвышенного Будды!

Сиддхартха положил руку свою на плечо Говинды.

– Ты не услышал моего благословения, о Говинда! И я повторяю его: пройди же этот путь до конца! Обрети спасение!

В этот миг осознал Говинда, что друг покинул его, и заплакал.

– Сиддхартха! – жалобно вскричал он.

Сиддхартха же приветливо молвил:

– Не забывай, Говинда, теперь ты один из монахов Будды! Ты отрекся от родины и от отца с матерью, отрекся от семьи и собственности, отрекся от своей воли, отрекся от дружества. Так того желает учение, так желает Возвышенный. Так пожелал ты сам. Завтра, о Говинда, я покину тебя.

Долго еще бродили друзья в роще, долго лежали, и сон не осенял их своим крылом. А Говинда снова и снова упрашивал друга открыть ему, отчего не желает он обрести прибежище в учении Готама, какой изъян видит он в этом учении. Но Сиддхартха всякий раз уклонялся от ответа, говорил только:

– Успокойся, Говинда! Прекрасно учение Возвышенного, разве можно найти в нем изъян!

Ранним утром один из сподвижников Будды, один из старейших его монахов, обошел рощу, скликая к себе всех послушников, обретших прибежище в учении, дабы облачить их в желтые одежды и сообщить им первые уроки и обязанности их теперешнего звания. Тут Говинда оторвался от друга своей юности, обнял его напоследок и примкнул к веренице послушников.

А Сиддхартха в задумчивости прохаживался среди деревьев.

И встретился ему Готама, Возвышенный, а когда он благоговейно поздоровался с ним и прочел во взгляде Будды огромную доброту и безмятежность, то воспрянул духом и попросил у Досточтимого позволения обратиться к нему. Молча, кивком Возвышенный даровал ему свое позволение.

– Вчера, о Возвышенный, – молвил Сиддхартха, – мне выпало счастье услышать твою чудесную проповедь. Из далеких мест пришел я сюда вместе с моим другом услышать эту проповедь. И теперь мой друг останется среди твоих сподвижников, найдя прибежище в твоём учении. А я продолжу свое странствие.

– Как тебе будет угодно, – учтиво ответил Возвышенный.

– Непомерно дерзостна моя речь, – продолжал Сиддхартха, – но я не хотел бы покинуть Возвышенного, не поведав ему откровенно, без утайки, мои мысли. Подарит ли мне Досточтимый малую толику своего времени? Выслушает ли меня?

Будда безмолвно кивнул в знак согласия.

И Сиддхартха заговорил:

– Одно, о Досточтимейший, восхитило меня в твоей проповеди более всего. В учении твоём все совершенно ясно, все доказательно; совершенной, никогда и нигде не прерывавшейся цепью предстает у тебя мир, вековой цепью причин и следствий. Никто до сих пор не видел этого столь ясно, никто не доказывал столь неоспоримо; поистине у каждого брахмана должно сильнее биться сердце, когда сквозь призму твоего учения мир открывается ему как совершенное единство, целостное, прозрачное, словно кристалл, независимое от случая, независимое от богов. Пусть останется под вопросом, добрый это мир или злой, мучительна или радостна в нем жизнь; вероятно, это и не важно, но единство мира, взаимосвязанность всего происходящего, принадлежность и большого, и малого к общему потоку, к общему закону причинности, становления и умирания – вот яркий светоч твоего высокого учения, о Совершенный. И тем не менее, согласно твоему же учению, это единство и логическая упорядоченность всех вещей имеют в одном месте разрыв, сквозь маленькую щелку вливается в этот мир единства нечто чужеродное, нечто новое, прежде небывалое, невыяв-

ляемое и недоказуемое – твое учение о преодоленье мирского, о спасении. Но эта маленькая прореха, эта маленькая трещинка вновь ломает и упраздняет весь вековечный и единый мировой закон. Надеюсь, ты простишь мне это возражение.

Безмятежно, невозмутимо выслушал его Готама. А затем Совершенный молвил доброжелательным, учтивым и ясным голосом:

– Ты слышал проповедь, о сын брахмана, и хорошо, что ты так глубоко размышлял о ней. Ты нашел в учении трещинку, изъян. Что ж, продолжи свои размышления. Но позволь предостеречь тебя, любомудрый юноша, от дебрей суждений и от спора о словах. В суждениях нет важности, каковы бы они ни были – прекрасные или безобразные, умные или безрассудные, всякий может быть им привержен или может пренебречь ими. Проповедь же, которую ты слышал от меня, не есть мое суждение и не ставит перед собой цели объяснить мир жаждущим знания. Ее цель в ином; ее цель – спасение, освобождение от страданья. Вот чему учит Готама, и только.

– Не гневайся на меня, о Возвышенный, – сказал юноша. – Я говорил так не затем, что ищу спора с тобою, спора о словах. Поистине ты прав, в суждениях нет важности. Но позволь сказать тебе еще одно: ни мгновенья не сомневался я в тебе. Ни мгновенья не сомневался я в том, что ты Будда, что ты достиг цели, высшей цели, к которой стремятся столь многие тысячи брахманов и сыновей брахманов. Ты нашел спасение от смерти. Оно явилось тебе из собственных твоих исканий, на собственном твоём пути, через медитацию, через познание, через просветление. Не из проповеди, не из учения явилось оно тебе! И – такова моя мысль, о Возвышенный! – никто не обретет спасения через проповедь! Никому, о Досточтимый, не сообщишь ты в словах, посредством проповеди то, что произошло с тобой в миг просветления! Многое заключено в учении просветленного Будды, многих оно учит жить праведно, чураться зла. Одного лишь нет в этом столь ясном, столь досточтимом учении – тайны происшедшего с самим Возвышенным, с ним одним, единственным из сотен тысяч. Вот о чем я размышлял, вот что открылось мне, когда я слушал проповедь. Вот почему я продолжу свое странствие – не затем, чтобы искать иного, лучшего учения, ибо я знаю, такого не существует, а затем, чтобы оставить все учения и всех учителей и в одиночку достичь моей цели или умереть. Но я буду часто вспоминать этот день, о Возвышенный, и этот миг, когда глаза мои видели Святого.

Глаза Будды безмятежно смотрели долу, безмятежно, в совершенной невозмутимости сиял его непроницаемый лик.

– Пусть мысли твои, – медленно произнес Досточтимый, – не окажутся заблуждением! Пусть цель твоя будет достигнута! Но скажи мне: ты видел ли множество моих саманов, множество моих братьев, нашедших прибежище в этом учении? И ты, чужой самана, полагаешь, что им всем лучше бы отринуть учение и вернуться к мирской жизни, к соблазнам и удовольствиям?

– Я далек от подобной мысли! – воскликнул Сиддхартха. – Пусть не сойдут они с пути этого учения, пусть достигнут своей цели! Не пристало мне судить о чужой жизни! Только о себе, о себе одном должно мне судить, только за себя делать выбор и отвергать. Освобождения от самости «я» ищем мы, саманы, о Возвышенный. Будь я одним из твоих учеников, о Досточтимый, боюсь, я бы лишь мнимо, лишь обманно успокоил мое «я» и обрел спасение, на деле же оно продолжало бы жить и расти, ибо тогда я бы сделал моею самостью учение, мою приверженность, мою любовь к тебе, монашескую общину!

С полуулыбкой, с неколебимой ясностью и благожелательностью посмотрел Готама в глаза чужеземцу и отпустил его едва заметным жестом.

– Ты умен, о самана, – молвил Досточтимый. – И речи твои умны, друг мой. Остерегайся же чересчур большого ума!

Прочь зашагал Будда, и взгляд его и полуулыбка навсегда остались запечатлены в памяти Сиддхартхи.

«Никогда прежде, – думал он, – я не видел, чтобы человек так смотрел и улыбался, сидел и ступал, поистине и я бы хотел так смотреть и улыбаться, сидеть и ступать – так свободно, так достойно, так замкнуто, так открыто, так ребячливо и таинственно. Поистине так смотрит и ступает лишь человек, проникший в сокровенные глубины своей самости. Что ж, вот и я попытаюсь проникнуть в сокровенные глубины моей самости.

Я видел человека, – думал Сиддхартха, – единственного человека, перед которым не мог не опустить глаз. Ни перед кем больше я не опущу глаз, ни перед кем. Ни одна проповедь больше не увлечет меня, ибо не увлекла меня проповедь этого человека.

Будда обобрал меня, – думал Сиддхартха, – да, обобрал, но еще больше он меня одарил. Он отнял у меня друга, который верил в меня, а теперь верит в него, который был моей тенью, а теперь стал тенью Готамы. Подарил же он мне Сиддхартху, меня самого».

Пробуждение

Когда Сиддхартха покинул рощу, где остался Будда, Совершенный, где остался Говинда, он почувствовал, что и его прежняя жизнь осталась в этой роще, отпала от него. Об этом ощущении, переполнявшем его, он размышлял, медленно шагая прочь. Глубоко размышлял, будто в глубокие воды погрузился на самое дно этого ощущения, туда, где покоятся первопричины, ибо мнилось ему, что постичь первопричины и означает мыслить, и лишь благодаря этому ощущения становятся знанием и не пропадают втуне, а обретают сущность и начинают излучать то, что в них содержится.

Медленно шагая, Сиддхартха размышлял. И заключил, что он уже более не юноша, что стал мужчиной. Заключил, что одно оставило его, как змею оставляет ее старая кожа, одного нет в нем более, а ведь это сопровождало его на протяжении всей юности, было неотъемлемо от него: желание иметь наставников и слушать наставления. Последнего наставника, который встретился на его пути, высочайшего и мудрейшего учителя, Святейшего, Будду, он тоже оставил, поневоле разлучился с ним, не смог принять его учение.

Медленнее шагал размышляющий, спрашивая себя: «Но что же, что хотел ты почерпнуть из наставлений и от наставников, и в чем они, столь многому тебя научившие, все-таки не сумели тебя наставить?» И он понял: «Сущность и смысл моего «я» – вот что мне хотелось постичь. Освободиться от этого «я», преодолеть его – вот чего я хотел. Но я не мог его преодолеть, мог только притвориться, только бежать от него, прятаться от него. Поистине ни одна вещь в мире не занимала так мои мысли, как это мое «я», эта загадка, что я живу, что я вот такой, единственный, отделенный и обособленный от других, что я – Сиддхартха! И ни об одной вещи в мире я не знаю меньше, чем обо мне, о Сиддхартхе!»

Медленно шагая, размышляющий остановился, пораженный этой мыслью, а из нее тотчас же явилась другая, новая мысль, гласившая: «То, что я ничего о себе не знаю, что Сиддхартха мне по-прежнему чужд и неведом, имеет одну-единственную причину: я страшился себя, я бежал от себя! Я искал атман, искал Брахман, желал расчленить мое «я», раззять кожуру, дабы в неведомых, сокровенных глубинах обрести таящееся под всеми оболочками ядро, начало начал, атман, жизнь, божественное, последнее. Но при этом я потерял себя».

Сиддхартха открыл глаза и огляделся по сторонам, улыбка разлилась по его лицу, и глубокое чувство пробуждения от долгого сна пронизало его до кончиков пальцев. И он пошел дальше, пошел быстро, как человек, который знает, что ему делать.

«О, – думал он, дыша полной грудью, – теперь уж я этого Сиддхартху не упущу! Не желаю больше начинать мои мысли и мою жизнь с атмана и страданий мира. Не желаю больше умерщвлять себя и расчленять, ища под обломками тайну. Не Йогаведа будет отныне

наставлять меня, не Атхарваведа, не аскеты и вообще не какое-либо учение. Я буду учиться у себя самого, стану своим собственным учеником, познаю себя, познаю тайну Сиддхартхи».

Он огляделся вокруг, как бы впервые увидев мир. А мир был прекрасен, мир был ярок и многоцветен, чуден и таинствен! В нем была синь, и желтизна, и зелень, в нем струились небеса и реки, недвижно замерли леса и горы, все прекрасно, все полно тайны и магии, а в середине – он, Сиддхартха, пробуждающийся, на пути к себе. Все это, вся желтизна и синь, все реки и леса, впервые влилось в глаза Сиддхартхи и было уже не наважденьем Мары, не покрывалом Майи, не бессмысленным и случайным многообразием мира явлений, презренным для серьезного, вдумчивого брахмана, который отвергает многообразие, ища единства! Синь была синью, река была рекою, и даже если в сини и реке внутри Сиддхартхи сокрыто живое единое и божественное, так ведь лад и смысл божественного как раз в том и заключается, чтобы здесь быть желтизною, а здесь синью, там небесами, там лесом, а здесь – Сиддхартхой. Смысл и сущность не прятались где-то за вещами, они были внутри их, внутри всего.

«Как я был глух и бесчувствен! – думал резво шагающий путник. – Когда человек читает манускрипт, стремясь доискаться его смысла, он не пренебрегает знаками и буквами, не зовет их обманом, случайностью и бесполезной оболочкой, нет, он вчитывается в них, изучает их и любит, букву за буквой. А я, желавший прочесть книгу мира и книгу собственного моего существа, я в угоду предвзятому смыслу отверг знаки и буквы, звал мои глаза и мой язык случайными и бесполезными явлениями. Нет, это миновало, я пробудился, я в самом деле пробудился и лишь сегодня рожден».

Думая эту думу, Сиддхартха опять остановился, внезапно, будто перед ним лежала на тропе змея.

Ибо ему внезапно открылось еще одно: он, в самом деле как бы пробудившийся и новорожденный, он должен начать жизнь вновь, и с самого начала. Когда в это самое утро он покидал рощу Джетавана, рощу Возвышенного, уже пробуждаясь, уже на пути к себе, он намеревался – и считал это свое намерение естественным и нормальным – после долгих лет аскезы воротиться в родные края, к отцу. Теперь же, вот в этот самый миг, когда остановился, будто увидав на тропе змею, он пробудился и к пониманию следующего: «Я уже не тот, что прежде, я не аскет более, не жрец, не брахман. Что же делать мне в родном доме, у отца моего? Учиться? Творить жертвоприношения? Погружаться в медитацию? Все это миновало, все это уже в стороне от моего пути».

Недвижимо стоял Сиддхартха, и на одно мгновение, на один вздох сердце его похолодело, он почувствовал, как оно холодеет в груди, точно маленькое живое существо, птичка или зайчонок, когда он увидел свое одиночество. Годами он был одинок и не чувствовал этого. И вот теперь почувствовал. До сих пор, даже в глубочайшей отрешенности, он был сыном своего отца, был высокородным брахманом, духовным лицом. Теперь же он был только Сиддхартхой, только пробужденным, и не более. Он глубоко вздохнул и на мгновение похолодел и вздрогнул. Никто не был столь одинок, как он. Ведь нет такого аристократа, что не принадлежал бы к знати, нет такого ремесленника, что не принадлежал бы к ремесленникам и не имел бы прибежища у своих, не делил с ними жизнь, не говорил их языком. Нет такого брахмана, что не относился бы к числу брахманов и не жил бы с ними, нет такого аскета, что не имел бы прибежища в монашеском сословии, и даже самый сирий отшельник в лесу не был один как перст, даже его окружали родственные души, даже он принадлежал к некоему сословию, которое было для него родным. Говинда стал монахом, и тысячи монахов были ему братьями, носили его одежду, верили его верой, говорили его языком. А он, Сиддхартха, где найдет он свое братство? Чью жизнь разделит? Чьим языком станет говорить?

Из этого мгновения, когда мир вокруг него исчез, когда он стоял один, как звезда в небе, из этого мгновения холода и робости Сиддхартха вышел, еще больше окрепнув самостью,

еще лучше владея собой. Он чувствовал: это была последняя дрожь пробуждения, последняя схватка рожденья. И вот он снова зашагал, резво и нетерпеливо, уже не домой, не к отцу, не вспять.

Часть вторая

Камала

На каждом шагу своего пути Сиддхартха узнавал новое, ведь мир преобразился, и сердце его было околдовано. Он видел, как солнце встает над лесистыми хребтами и садится над далеким, поросшим пальмами побережьем. Ночью он видел на небе россыпи звезд и месяц, лодкой плывущий в синеве. Видел деревья, звезды, животных, облака, радугу, скалы, душистые травы, ручьи и реки, взблеск росы в кустах поутру; вдали блекло голубели горные вершины, щебетали птицы и жужжали пчелы, ветер колыхал серебристые волны рисовых полей. Все это тысячеликое многоцветье существовало от веку – от веку светили солнце и луна, от веку жужжали пчелы и шумели реки, но прежде все это казалось Сиддхартхе не более чем эфемерной и обманчивой дымкой, которая застит взор, внушает недоверие и назначена для того, чтобы пронизать ее мыслью и уничтожить, ибо все это лишено сущности, ибо сущность лежит по ту сторону зримого. Теперь же его освобожденный взор пребывал по сю сторону, он видел и узнавал зримое, искал свое отечество в этом мире, но не искал сущности, не целил в потустороннее. Мир был прекрасен, если смотреть на него вот так – ничего не ища, просто, по-детски. Прекрасны были луна и звезды, прекрасны ручьи и берега, леса и скалы, козы и жуки-златки, цветы и бабочки. Прекрасно и отрадно было вот так идти по этому миру – ребенком, пробудившимся, доверчивым ребенком, открытым для всего, что рядом. По-иному палило голову солнце, по-иному обвевала прохладой тень, иной вкус был у воды в ручье и в бочке, иной – у тыквы и банана. Коротки были дни, коротки ночи, и каждый час быстро ускользал прочь, словно парус в море, а под парусом корабль, полный сокровищ, полный утех. Сиддхартха видел обезьяний народ, снующий высоко под сводом леса, высоко в ветвях, и слышал дикарский, алчный напев. Видел, как баран, догнав, покрывает овцу. Видел, как под вечер охотится в тростниковом озере голодная щука, как перед нею с перепугу стайками выскакивают из воды, трепеща и поблескивая, рыбешки-недоростки; силой и страстью разило от стремительных водных вихрей, вздымаемых неистовой охотницей.

Все это существовало от веку, а он этого не видел; его при этом не было. Теперь же он был здесь и участвовал во всем. Его глаза вбирали свет и тень, сквозь его сердце проплывали звезды и луна.

По дороге Сиддхартха вспоминал и все то, что пережил в садах Джетаваны, вспоминал услышанную там проповедь, божественного Будду, прощание с Говиндой, беседу с Возвышенным. Вспоминал собственные свои слова, обращенные к Возвышенному, вспоминал каждое слово и с удивлением уяснил себе, что сказал много такого, чего тогда еще толком не понимал. Ведь он сказал Готаме: его, Будды, сокровище и тайна не учение, не проповедь, а то невыразимое и неисповедимое, что он пережил и познал некогда в миг просветления, – именно это хотел теперь познать и он, Сиддхартха, затем и отправился в путь, именно это и начал сейчас познавать. Познать же он должен себя самого. Конечно, он уже давно понял, что его самость – атман, по природе своей столь же вечный, сколь и Брахман. Но никогда он не обретал по-настоящему этой самости, потому что хотел поймать ее неводом мысли. И не тело, конечно, было самостью, и не игра чувственных восприятий, но ведь точно так же не были ею ни мысли, ни разум, ни приобретенная мудрость, ни приобретенное искусство делать выводы и сплетать из старых мыслей новые. Да, этот мир идей находился тоже по сю сторону, и незачем было умерщвлять случайное «я» чувственных восприятий и пестовать взамен случайное «я» мыслей и ученостей. То и другое – мысли и чувственные восприятия – было по-своему замечательно, за тем и другим таился последний смысл, вслушиваться над-

лежало в то и другое, играть тем и другим, ни то, ни другое не презирать и не ценить сверх меры, различать в том и другом тайные голоса сокровеннейшего. И стремиться он будет лишь туда, куда велит этот голос, и сосредоточиваться лишь на том, что советует этот голос. Отчего Готама некогда, в тот великий час, уселся под деревом Бодхи, где на него низошло просветление? Он услышал голос, голос внутри своего сердца, который повелел ему сделать привал под этим деревом, и он не отдал предпочтения ни умерщвлению плоти, ни жертве, ни омовению или молитве, ни еде, ни питью, ни сну, ни грезам – нет, он внял голосу. Вот такая послушливость – не велению извне, а одному только этому голосу, – вот такая готовность была правильной и необходимой, более ничего и не требовалось.

Ночевал Сиддхартха у реки, в крытой соломою хижине перевозчика, и приснился ему Говинда, в желтых одеждах аскета. Печальным выглядел Говинда, печально спросил он: почему ты покинул меня? Тогда он обнял Говинду, обвинил его руками и, привлекая к своей груди и целуя, увидел, что это уже не Говинда, а женщина, и из платья ее выпросталась полная грудь, и к ней припал Сиддхартха и пил – сладостным и хмельным на вкус было молоко этой груди. Вкус его напоминал о женщине и о мужчине, о солнце и о лете, о животных и о цветах, о любых плодах, о любых удовольствиях. Оно пьянило и дурманило... Когда Сиддхартха проснулся, за дверью хижины тускло серебрилась река, а в лесу гулко звучал басовитый крик совы.

Когда настал день, Сиддхартха попросил своего благодетеля, перевозчика, свезти его на тот берег. И перевозчик на своем бамбуковом плоту переправил его через реку, и широкий водный простор розовел в утренних лучах.

– Красивая река, – сказал Сиддхартха своему спутнику.

– Да, – молвил в ответ перевозчик, – очень красивая, я люблю ее больше всего на свете. Часто я слушал ее, часто смотрел ей в глаза и всегда учился у нее. У реки можно многому научиться.

– Спасибо тебе, милостивец, – сказал Сиддхартха, выйдя на берег. – Нечем мне одарить тебя за гостеприимство, мой дорогой, нечем и заплатить. Я бесприютный сын брахмана и подвижник-монах.

– Я это заметил, – отозвался перевозчик, – и не ждал от тебя ни платы, ни подарка. Ты сделаешь мне подарок в другой раз.

– Ты так думаешь? – весело воскликнул Сиддхартха.

– Конечно. Я и это узнал от реки: все возвращается! Вернешься и ты, самана. А теперь прощай! Пусть уплатой мне будет твоя дружба. Вспоминай обо мне, когда будешь творить жертвы богам.

С улыбкой расстались они. С улыбкой радовался Сиддхартха дружеству и дружелюбию перевозчика. «Он как Говинда, – с улыбкой думал юноша, – все, кого я встречаю на моем пути, похожи на Говинду. Все благодарны, хотя благодарность причитается им, а не мне. Все стараются угодить, все хотят добрых отношений, охотно уступают, мало думают. Дети – вот кто эти люди».

К полудню он добрался до какой-то деревни. На улочке перед глинобитными хижинами возились дети, играли тыквенными семечками и ракушками, кричали и дрались, но все робели и сторонились чужого саманы. На краю деревни дорога вела через ручей, а у ручья, стоя на коленях, молодая женщина стирала белье. Когда Сиддхартха поздоровался с нею, она подняла голову и с улыбкой взглянула на него, даже белки глаз сверкнули. Как подобает страннику, он послал ей через ручей благословение и спросил, далеко ли еще до большого города. Тут она встала и подошла к нему, красиво алел на юном лице ее влажный рот. Она обменялась с ним шутливыми словами, спросила, ел ли он уже и правда ли, что саманы ночуют в лесу одни и не вправе иметь подле себя женщин. При этом она поставила свою левую ногу на его правую и сделала некое движение, каким у женщин принято при-

глашать мужчину к любовным утехам, что именуются в учебниках лазаньем на дерево. Сиддхартха почувствовал, как у него закипает кровь, а поскольку в этот миг опять вспомнил давешний сон, то слегка наклонился к женщине и поцеловал коричневый кончик ее груди. Подняв взгляд, он увидел, что улыбка ее полна желаний, а сужившиеся глаза мерцают мольбой и истомой.

И Сиддхартха тоже почувствовал желание, почувствовал, как шевельнулось в причинном месте; но поскольку он никогда еще не прикасался к женщине, то чуть помедлил, хотя руки его уже тянулись к ней. И в этот миг он с ужасом услышал голос своего сокровенного, услышал его «нет». И тут улыбающееся лицо юной женщины потеряло все свое обаяние, теперь он видел только влажный взгляд самки. Ласково погладив ее по щеке, он отвернулся от разочарованной и легкими шагами скрылся в бамбуковой роще.

Под вечер он добрался до большого города и возрадовался, ибо жаждал общества. Долго жил он в лесах, и крытая соломой хижина перевозчика, в которой он провел сегодняшнюю ночь, впервые с давних пор подарила ему кров.

На городской окраине, возле обнесенной оградой рощи, страннику встретила небольшая процессия челяди, нагруженной корзинами. Посредине, в изукрашенном паланкине, несомом четверкой слуг, на алых подушках под пестрым балдахинном сидела женщина, их госпожа. Сиддхартха остановился у входа в сад, наблюдая за процессией, глядя на прислужников и прислужниц, на корзины, на паланкин, на даму в паланкине. Черные волосы ее были уложены в высокую прическу, лицо белое, точеное, очень умное, рот нежный, алый, как только что сорванная смоква, брови холеные, подведенные высокой дугой, темные глаза светились умом и настороженностью, высокая белоснежная шея выступала из зеленого с золотом наряда, белые руки, узкие, с длинными пальцами, покоились на коленях, запястья перехвачены широкими золотыми браслетами.

Сиддхартха любовался ее красотой, и сердце его смеялось. Когда паланкин был уже близко, он склонился в глубоком поклоне и, выпрямляясь, заглянул в белоснежное прекрасное лицо, мгновенье читал в умных глазах под высокими дугами бровей, вдохнул неведомый аромат. С улыбкой кивнула красавица ему в ответ, мгновенье – и она исчезла в саду, а за нею и вся челядь.

«Вот так вхожу я в этот город, – думал Сиддхартха, – под благим знаком». Его тянуло немедля войти в сад, но он опамятовался и лишь теперь осознал, как смотрели на него челядинцы у входа, как презрительно, как недоверчиво, как враждебно.

«Я пока еще самана, – думал он, – пока еще аскет и попрошайка. Нельзя мне оставаться таким, нельзя таким войти в сад». И он рассмеялся.

Первого же встречного спросил он о роще и об имени женщины и узнал, что это сад Камалы, знаменитой куртизанки, и что, кроме рощи, у нее есть дом в городе.

Засим Сиддхартха вошел в город. Теперь у него была цель.

Преследуя эту цель, он позволил городу поглотить себя, плыл в потоке улиц, останавливался на площадях, отдыхал на каменных ступенях у реки. К вечеру он сдружился с неким подручным цирюльника, которого видел за работой под сенью арки, а потом встретил за молитвою в храме Вишну, и рассказал ему истории о Вишну и Лакшми. Заночевал он возле лодок, у реки, а рано утром, прежде чем в цирюльню явились первые клиенты, новый знакомец сбрил ему бороду, постриг волосы, причесал их и умастил благовонным маслом. Потом Сиддхартха омылся в реке.

Когда же перевалило за полдень и красавица Камала отправилась в паланкине в свой сад, у входа стоял Сиддхартха, он поклонился, и куртизанка ответила поклоном. А тому челядинцу, что был последним в процессии, он сделал знак подойти ближе и попросил доложить госпоже, что молодой брахман желает поговорить с нею. Через некоторое время слуга

вернулся, пригласил ожидающего войти, молча проводил его в павильон, где на диване возлежала Камала, и оставил их наедине.

– Не ты ли и вчера стоял у входа и приветствовал меня? – спросила Камала.

– Да, я еще вчера видел тебя и приветствовал.

– Но ведь вчера ты был с бородой, и с длинными волосами, и с пылью в волосах?

– А ты наблюдательна и все разглядела. Ты видела Сиддхартху, сына брахмана, который покинул родные края, чтобы стать подвижником-саманой, и три года был им. Теперь же я оставил эту стезю и пришел сюда, в город, и первая, кто встретила меня под его стенами, была ты. Чтобы высказать это, я и пришел к тебе, о Камала! Ты первая женщина, с которой Сиддхартха говорит, не потупляя взора. И никогда более я не опущу глаз, встретив красивую женщину.

Камала улыбнулась, играя веером из павлиньих перьев. И спросила:

– В самом ли деле Сиддхартха пришел ко мне, только чтобы это высказать?

– Да, чтобы это высказать и поблагодарить тебя за то, что ты так прекрасна. И если ты не против, я хотел бы просить тебя: стань моей подругой и наставницей, ибо я ничего пока не знаю об искусстве, в котором ты достигла мастерства.

Громко рассмеялась Камала:

– Никогда до сих пор не бывало, друг мой, чтобы самана из лесу пришел ко мне и желал учиться у меня! Никогда до сих пор не бывало, чтобы пришел ко мне самана, длинноволосый, в старой дырявой повязке на бедрах! Много юношей приходят ко мне, есть среди них и сыновья брахманов, но приходят они в красивых одеждах, изящных сандалиях, с благовониями в волосах и деньгами в кошельке. Вот, о самана, каковы юноши, что приходят ко мне.

И молвил Сиддхартха:

– Я уже начинаю учиться у тебя. И вчера тоже кой-чему научился. Я уже сбрил бороду, причесал волосы, умастил их благовонным маслом. Лишь малого недостает мне, о прелестнейшая: красивых одежд, изящных сандалий, денег в кошельке. Знай же, Сиддхартха брался за куда более трудные дела, чем эти пустяки, и добивался успеха. Так разве не добьюсь я того, что задумал вчера: стать твоим другом и познать от тебя радости любви! Ты увидишь, я прилежный ученик, Камала, я постигал куда более трудное, нежели то, чему будешь учить меня ты. Итак, Сиддхартха – такой, каков он есть: с благовониями в волосах, но без одежды, без сандалий, без денег, – не удовлетворяет тебя?

Смеясь, воскликнула Камала:

– Нет, дорогой мой, пока не удовлетворяет. Ему необходима одежда, нарядная одежда, и сандалии, нарядные сандалии, и много денег в кошельке, и подарки для Камалы. Ну, теперь ты понял, самана из леса? Теперь запомнил?

– Конечно, запомнил! – вскричал Сиддхартха. – Как же не запомнить то, что произносят такие уста! Твои уста, Камала, как свежая смоква. И мои уста алы и свежи, под стать твоим, вот увидишь... Но скажи, красавица Камала, неужели ты совсем не боишься лесного саманы, что пришел учиться любви?

– А почему я должна бояться какого-то саманы, глупого лесного подвижника, что пришел от шакалов и знать еще не знает, что такое женщина?

– О, он сильный, этот самана, и ничего не страшится. Он мог бы принудить тебя, прекрасная дева. Мог бы тебя украсть. Причинить тебе боль.

– Нет, самана, этого я не боюсь. Разве подвижник или брахман боялся когда-нибудь, что придет некто, и схватит его, и украдет у него ученость, и набожность, и глубокомыслие? Нет, они принадлежат ему неотъемлемо, и он может лишь поделиться ими, отдать столько, сколько пожелает, и тому, кому пожелает. Вот так в точности обстоит и с Камалой, и с утехами любви. Прекрасны и алы уста Камалы, но попробуй поцеловать их вопреки ее желанию, и ты не вкусишь ни капли их сладости, а ведь они умеют дать так много услады! Ты

прилежен в ученье, Сиддхартха, усвой же и это: любовь можно вымолить, купить, получить в дар, найти на улице, но украсть ее нельзя. Тут ты избрал себе ложный путь. Н-да, жаль, когда красивый юноша вроде тебя приступает к делу до такой степени неправильно.

Сиддхартха с улыбкой поклонился.

– И вправду жаль, Камала, ты совершенно права! Очень жаль. Нет уж, ни капли сладости твоих уст не должно пропасть для меня втуне, а для тебя – моих! Стало быть, порешим так: Сиддхартха вернется, когда у него будет недостающее – одежда, сандалии, деньги. Но скажи, прелестная Камала, не дашь ли ты мне на прощанье маленький совет?

– Совет? Отчего же, дам. Кто откажет в совете бедному, невежественному самане, который пришел от лесных шакалов?

– Так посоветуй же мне, дорогая Камала, куда я должен пойти, чтобы поскорее обрести эти три вещи?

– Многие хотели бы это знать, друг мой. Делай то, чему ты научился, и пусть тебе дают за это деньги, одежду и сандалии. Что же ты умеешь?

– Я умею размышлять. Умею ждать. Умею поститься.

– И больше ничего?

– Ничего. Хотя нет, еще я умею слагать стихи. Подаришь мне поцелуй за стихотворение?

– Подарю, если твои стихи мне понравятся. Каково их название?

Сиддхартха с минуту подумал и произнес такие стихи:

Прекрасная вошла в тенистый сад Камала,
У входа в сад стоял темный ликом самана.
Завидев дивный лотоса бутон, глубоко
Он поклонился, и кивнула с улыбкою Камала.
Милее, юноша думал, чем жертву творить богам,
Милее жертву сложить к ногам прекрасной
Камалы.

Громко захлопала в ладоши Камала, золотые браслеты так и зазвенели.

– Хороши твои стихи, темный ликом самана, и поистине я ничего не потеряю, если дам тебе за них поцелуй.

Взглядом призвала она его к себе, он наклонил к ней лицо и коснулся губами ее губ, свежих, как только что сорванная смоква. Долго целовала его Камала, и с глубоким изумлением чувствовал Сиддхартха, как она учит его, как она мудра, как она властвует им, отталкивает его и притягивает и как выстраивается за этим первым поцелуем длинная, ровная, проверенная вереница других, грядущих поцелуев, непохожих один на другой. Глубоко дыша, он замер и был в это мгновенье как ребенок изумлен полнотою знания, которое открылось его взору и было так достойно постижения.

– Очень хороши твои стихи, – воскликнула Камала, – будь я богата, я бы дала тебе за них золота. Но стихами трудно заработать такие большие деньги, какие нужны тебе. Ибо, если ты хочешь стать другом Камалы, тебе понадобятся большие деньги.

– Как же ты умеешь целовать, Камала! – пролепетал Сиддхартха.

– Да, это я умею, вот почему у меня в достатке и платьев, и сандалий, и прочих красивых вещей. Но что станется с тобою? Неужели ты только и умеешь, что размышлять, поститься, слагать стихи?

– Еще я знаю жертвенные песнопения, – сказал Сиддхартха, – но мне больше не хочется их петь. И заклинания знаю, но мне больше не хочется их читать. Я читал священные книги...

– погоди, – перебила его Камала. – Ты умеешь читать? И писать?

– Конечно. Не один я умею.

– Большинство не умеет. И я не умею. Очень хорошо, что ты умеешь читать и писать, очень хорошо. Да и заклинания тоже могут пригодиться.

В этот миг вбежала прислужница и шепотом сообщила что-то на ухо госпоже.

– Ко мне пришли, – воскликнула Камала. – Поспеши исчезнуть, Сиддхартха, никто не должен тебя здесь видеть, запомни! Завтра мы увидимся вновь.

Прислужнице она, однако ж, приказала дать набожному брахману белую верхнюю накидку. Сам не зная как, Сиддхартха следом за прислужницей выбрался из павильона, и она окольной дорогой прошла с ним в садовый домик, подарила накидку, затем вывела в заросли и настоятельно призвала поскорее незаметно удалиться.

Удовлетворенный, он сделал как велено. Будучи привычен к лесу, он бесшумно через живую изгородь выскользнул из сада. Удовлетворенный, вернулся в город, неся под мышкой свернутую накидку. На постоялом дворе, где останавливались проезжающие, он стал у двери, молча попросил поесть, молча принял кусок рисового пирога. Может быть, уже завтра, думал он, я никого не попрошу более о пропитании.

Внезапно в нем вспыхнула гордость. Он больше не самана, и негоже ему теперь просить милостыню. Он отдал пирог собакам, а сам остался без пищи.

«Проста жизнь в этом мире, – думал Сиддхартха. – Нет в ней трудностей. Когда я был саманой, все оказывалось трудно, утомительно и в конечном счете безнадежно. А теперь все легко, как уроки поцелуев, которые мне дает Камала. Я нуждаюсь в деньгах и одежде, и только, а это мелкие ближние цели, сну они не помеха».

Он давно разузнал, где находится городской дом Камалы, и на следующий день пришел туда.

– Все хорошо! – крикнула она ему навстречу. – Тебя ждут у Камасвами, он самый богатый купец в этом городе. Если ты ему понравишься, он возьмет тебя на службу. Будь умен, темный ликом самана. Я попросила, чтобы ему рассказали о тебе. Будь приветлив с ним, ибо человек он весьма могущественный. Но не скромничай сверх меры! Я не хочу, чтобы ты стал его слугой, ты должен стать ему равней, иначе я буду недовольна. Камасвами понемногу стареет и делается ленив. Если ты ему потрафишь, он многое тебе доверит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.